**Олимпиадное задание по русской литературе**

**для учащихся 9-11 классов**

**Напишите эссе или рецензию по одному из произведений (фрагменту из произведения) уфимских писателей, тексты которых приведены ниже.**

**Основные требования к эссе и рецензии.** Рецензия информирует о произведении, содержит его краткий анализ и оценку. В переводе с латинского «recensio» означает «просмотр, сообщение, оценка, отзыв о чём-либо». Рецензия – это жанр, основу которого составляет отзыв (прежде всего – критический) о произведении художественной литературы. Эссе (из французского «*essai»* означает «попытка, проба, очерк») – литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной [композиции](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29). Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения [автора](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80) о прочитанном и не претендует на исчерпывающую оценку.

**Требование к работе учащегося.** Рецензия или эссе на одно из произведений уфимского автора должно носить самостоятельный характер. Тексты работ заимствованные из интернета членами жюри рассматриваться не будут.

**Петр Храмов**

**Фрагменты из романа «Инок»**

**На руинах**

Я улыбнулся, и мы пошли по осенней Уфе, переговариваясь легко, дружески и не очень серьезно. Шутили, почти одновременно прищуриваясь на солнечное, полуголое, золотисто-сизое прощание осени – октябрь… Головокружение взаимной симпатии порой чуть пошатывало нас, и мы касались друг друга плечами, вспоминая «всенощное» наше единение. Единение это, правда, в другом качестве продолжалось и сейчас, и было оно как прозрачный осенний воздух – с легкою дымкой необъяснимых надежд молодости.

И вдруг в благости этого настроения стало намечаться некое темное пятнышко. День был хорош; Маша, как обычно, еще лучше; были деньги после недавнего заказа и здоров был, как лошадь, – все вроде нормально, но вот душа не находила себе места. Что-то печально и смутно всплывало в памяти, как полуутопленная льдинка, и, не успев осознаться, тонуло в беспамятстве, словно в глубине вод. Маша замедлила шаги и, глядя на острые носки своих сапожек, спросила ласково, мелодически и очень медленно:

– Что с тобой?

Медленно и почти торжественно Маша подняла вверх лицо, чуть отвернулась от осеннего света (на краткий миг ее ресницы странно озолотились солнцем) и осторожно сказала:

– Да… я заметила: ты весь день – вероятно, машинально – посматриваешь в ту сторону, где вы раньше жили… на Белой.

Внезапно, как вспоминаешь о смерти, я осознал: «Дом». Поежившись от удивительной ее наблюдательности, я вздохнул:

– Поехали.

– Сейчас, – сказала Маша, – вон скамеечка у сельхозинститута – посидим немного… <…>.

Удивительно: наш дом снесли еще тогда, когда я учился на втором курсе, и, приезжая на каникулы в новый дом, я ни разу не сходил на место гибели старого. Душа, вероятно, была не готова. И вот через шесть лет, краем уха услышав от Маши, что останки дома валяются возле школы, в которой она работала, я, как всегда с опозданием, встрепенулся. Очевидно, давно не испытывая печалей и, вероятно, чувствуя в них потребность, я решил во что бы то ни стало увидеть все.

В полупустом троллейбусе Маша рассказывала о школьных своих делах. Она сняла перчатки, и, как обычно, у меня чуть не закружилась голова от красы ее рук. Совершенные, плавные, нежные руки с ямочкой под каждым пальцем. Это было как волшебство – трехлетняя девичья ручка в размерах взрослой женской руки. Удивлялся: Маша стирала, мыла полы, чистила картошку, а рученьки – именно «рученьки»… Нежный ее голосок прервал мои восхищения:

– Это невежливо – не слушать даму.

И видом своим, и голосом я уверил ее:

– Слушаю, Маш, слушаю: Нигматуллина – ортодокс, Гоголь – гений, а Яровенко – хабалка… И все это на фоне недорослей, кои, открыв рот, внимают вещему твоему слову…

Маша улыбнулась, а я продолжал:

– Но все это земное, дружочек, и посему я залюбовался небесным – твоими руками. Право, Маш, когда я буду давать дуба, то последним, что мелькнет в угасающем моем сознании, будет твоя ручка – ручка из волшебного сна детства.

Ее взгляд обещал улыбку, но она не улыбнулась, а усмехнулась горько:

– Без дуба ты не можешь – что за манера… – Отсердившись, сказала: – Ластик, ты насчет смерти прекрати, а насчет «ручек» – пойми. Я педагог, и вид моих рук – одна из форм воспитания, ну хотя бы девочек.

– Это очень славно, Маш, что ты несешь свою свечечку, а привычка – душа не только держав, особенно привычка к добру и красоте.

– Приехали, – сказала Маша, глянув в окно, и стала надевать перчатки – кнопки их уже щёлкнули на остановке, осенённой монументом «Дружбы народов». Мы неспешно пошли дорогою, которой ходили в детстве тысячи раз. Когда мы перешли мост через Сутолоку, я обернулся налево: церковь наша стояла средь золотисто-сизой тихости – голубая, стройненькая и радостная самой себе. Я хотел было снять кепочку и, как тот возница, который давным-давно перевозил нас на новую квартиру, перекреститься на храм, но не посмел. Мы свернули направо, опустились к реке и не без волнения подходили туда, где уже не было нашего дома.

Подошли. Совершенно ровное место. Свежий асфальт и каток в углу бывшего нашего двора. Было неловко, странно и совестно, как всегда, когда своими глазами видишь неотвратимость смерти. И сарайки снесли. И наш, и Елены Григорьевны, и тот, в котором Виктор Иванович «слагал» свой мотор, и тот, в котором Нагима Асхатовна открывала мне жгучие тайны женского тела. Всё снесли и могилку Лобика заасфальтировали. И тополь убили. Я молчал, сжав кулаки в карманах пальто. Потом снял кепочку. Сам удивился: как на кладбище… Подумав, я негромко сказал:

– Если рабочий класс не остановить, он всю Россию превратит в погост.

Переступив с ноги на ногу, Маша сказала тихо и медленно:

– Да… рабочий класс самый реакционный, он ничем не связан с вечностью: ни землей, ни собственностью, ни людьми, ни памятью… Ни своей работой – все его поделки устаревают через пять-десять лет. Класс, работающий на свалку, – отсюда психология временщиков: после нас хоть потоп… Это не крестьяне: умирать собрался, а рожь сей… Это временщики, у которых нет ничего святого… Даже отечества… Даже надежд – их заменяют автоматы… роботы… Вот они и беснуются…

Я окаменел от железной логики молоденькой учительницы: Маша говорила всё это в первый раз, но как давным-давно продуманное и взвешенное, – говорила, имея перед глазами наглядное доказательство своим словам.

 Маша не спросила, а просто поежилась:

– Кому он мешал?

Внешне спокойно, а внутренне сотрясаясь, я отвечал притихшей Машеньке:

– А ты помнишь, Маш, с какой любовью и каким тщанием был построен наш дом… Дом, красивый, как Россия…

Маша вздохнула:

– Вечная ему – и ей – память.

**Чехов**

– Обожди, не пей, – воскликнула Маша, – я сейчас пельмешки принесу. – Принесла. Пельмени дымились, как Бородино. – Ты не бойся, это не фабричные, я сама лепила вчера по рецепту Галины Федоровны.

Оправившись от разнообразных удивлений, я сказал:

– Маш, объяснись с книгой-то, а то у меня от любопытства лопнет что-нибудь.

Маша осторожно поперчила и мою, и свою тарелки и сказала с протяжной рассудительностью:

– Не лопнет… всё путем, вот покушаем – и я всё как на духу тебе поведаю.

Откушали. Вздохнули. Я взял на колени вальяжного и пресыщенного Митрофана:

– Слушаю, душечка.

Дабы я не отвлекался от темы созерцанием умопомрачительной ложбинки меж потрясающих грудей, Маша застегнула верхнюю пуговичку полосатого халата и выпрямилась в кресле – скромная и серьёзная, как примерная ученица. За окном пошёл дождь. Маша на него посмотрела:

– Вот… немного я смущаюсь… – Решилась: – А знаешь, Ластик, я давно, чуть ли не на втором курсе, стала догадываться, что Чехов – гений, и гений не только литературный, но и не до конца нами понятый, высочайший нравственный ориентир… Да… вот… Двадцатый век, в общем-то, его проглядел – ну, войны там… революции всякие… Он писатель двадцать первого века… Если опять чего-нибудь не случится. – Чуть прищурясь, Маша катала хлебный катышек и продолжала с редким для нее, растущим воодушевлением – даже голосок зазвенел: – Понимаешь, художественный его талант был не стихиен, а освещен той самой «общей идеей», которой так не хватало герою его «Скучной истории» – старому профессору Николаю Степановичу (моего дедушку так звали). – Полуулыбкой она «повинилась» за это свое отступление и паузой и тоном выделила: – А у самого Чехова была эта самая «общая идея»… Была… Но он не был таким наглым, как Толстой или Достоевский, – был истинно смиренен и эту «общую» свою идею нигде и никогда не декларировал. Но она, эта идея, по крупицам разбросана во всех его произведениях: и в рассказах (даже самых маленьких и смешных), и в повестях; очень много ее в пьесах и в удивительных его письмах, особенно в интереснейших письмах к Суворину… Даже в записных книжках… они есть… И, вот... – Маша встала, прошлась и опять скромненько села: – Вот я хочу эти крупицы собрать. – Помолчала немного: – Собрать, прокомментировать по своему разумению и скомпоновать так, чтобы получилась книга под условным названием «Этика Чехова». – Оглянулась на дождь за окном: – Я понимаю, это дело не двух и даже не трех лет… Но оно, это дело, мне кажется важным и нужным: «сей-час» наступает время не скандальных идейных битв, а время тихой и сосредоточенной работы – чеховское время. – Вздохнула и посмотрела на меня вопросительно и вроде бы прося прощения за дерзновенные свои помыслы. Сказала тихо-тихо: – Я не от гордости это затеяла... Мне кажется, я понимаю Чехова…

Подумав, я спросил:

– А как в самых общих чертах тебе представляется философия Чехова?

Маша задумалась, и взор ее долго не мог остановиться; наконец остановился, расширился, посветлел:

– В самых общих чертах… Ну-у, скажем так – удобный стоицизм. Да, комфортный стоицизм культуры. – Склонив голову, соединила ладошки. – И еще: Чехов – единственный наш писатель, который понимал, что дело не в социальных и общественных идеях, которые неизбежно ссорят людей, не в «направлениях», которые тоже их разобщают, а в постоянном – как жизнедеятельность живого организма – нравственном усилии. – Посмотрела с недоумением: – И только. «Все мы народ, и всё то лучшее, что мы делаем, есть дело народное»… Эти его слова висят у меня в классе. На многие ребячьи вопросы я показываю на них рукой… И знаешь, Лась, дети понимают. Они всё понимают…

Маша стала смотреть в окно…

От чистой – совершенно чистой – радости я покраснел (даже уши горели) и сказал:

– Маша, поверь, ты удивительный, ты прекрасный, ты настоящий человек…

Маша махнула ручкою – «ну уж» – невзначай расстегнула верхнюю пуговичку халата и вдруг обрадованно:

 – Так ты думаешь, что стоит работать над рукописью?

Я даже отвечать не стал, по лицу она прекрасно поняла: стоит. Мне очень хотелось ее обнять, поцеловать, перекрестить… но… почему-то я застеснялся – не посмел. Первый раз в жизни. Нашей жизни. Я наполнил крохотные стаканчики:

– Мария… Михайловна… вот за это стоит провозгласить тост. Маша взяла свой стаканчик стоя и потупилась. Я тоже встал; мы чокнулись, и я сказал: – Удачи тебе, родная…

Маша опустила голову, желая скрыть влагу в глазах, и вдруг подняла её, улыбнулась:

– Спасибо.

Выпили. Сели. Помолчали. Был хорошо слышен дождь.

**Время**

Думал: отчего так медленно движется моя картина и движется ли? Вновь и вновь я сравнивал свои варианты, даже не допуская мысли, что я просто не родился художником и не призван переводить свои мысли и чувства – жизнь свою – на язык зрительных образов. Думал, сравнивал и опять думал. «Не художник». Только много лет спустя мне удалось понять это – понять постепенно, спокойно, без «трагедий», как осознаёшь с годами реальность смерти и несоответствие «реальной жизни» нашим о ней представлениям. Я схоронил к тому времени всех: Машу, бабушку, отца, маму. Схоронил Муртазика и Кубика. Приступы «творчества» сменялись комическими «заказами», заказы – судорожными, с оглядкой на деньги, попытками «творчества».

Время стояло – проходили мы, а маленькая заключенная девочка так и не вышла за пределы моей души. Может быть, к лучшему и для нее, и для меня: «Да будет воля Твоя». Однажды, уже весною восемьдесят пятого года, я вгляделся в хорошо прорисованное, почти родное ее личико, попытался поулыбаться многолетнему нашему сотрудничеству и сказал почему-то вслух: «Прощай, дитя». Тихонько, почти про себя насвистывая полонез Огинского, вымыл все кисти: предстояла новая пытка – очередной «заказ». Я походил по комнате, не зная, что делать, но руки мои уже собирались, раскладывая по карманам деньги, сигареты, спички. Надел плащ, подмигнул Ластику, который, склонив голову набочок, сидел на хвосте, меня провожаючи, и вышел из дому. Не давая себе отчета, дождался первого номера троллейбуса и поехал на то место, где я начал присматриваться к этому миру. Последний раз я был здесь девятнадцать лет назад. Вместе с Машенькой. Осенью.

Не шевелясь, я осмотрелся: изменилось всё. Несмотря на разлив, Белая была почти в старом своем русле. Остров исчез. Берег покрылся тяжкими бетонными плитами. Очень осторожно я обернулся к тому месту, где жили мои родные – тополь и дом: оно еще не зажило и по-прежнему было чужим и странным.

На крыше несокрушимой лесопилки – большой портрет нового «генерального секретаря». Изображала его слабая и, вероятно, злобная кисть: благообразное и твердое лицо Горбачева было неузнаваемо: некто, похожий на Чичикова, с высокомерием лилипута взирал на кофейного цвета Белую. Я вздохнул: «Эк они его» – и сочувственно улыбнулся портрету, мысленно вспомнив Александра Сергеевича: «О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, на высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы?»

Мелькнуло: «На дыбы… дыба – судьба российская». Судьба.

Я стоял на том самом месте, где стоял и сорок лет назад, провожая глазами милого мне пленного немца. Где он сейчас? Впервые я вспомнил о нем не с печалью, а с улыбкою и ясно-ясно представил нерусское, внимательное его лицо. Тихое, скромное такое лицо. Как у Маши. Господь, внимание и тишина были сейчас со мною, превращая в нечто иное печаль этих двух потерь. Потери, находки – как отличить их друг от друга после многих и многих лет… Конечно же, я не потерял, а милостью Божией нашел и продолжаю находить их обоих – милых, родных и освещенных вопрошающими глазами детства.

Маленькая, правильная, трогательная Маша-первоклассница исчезла, перестала быть, превратившись в правильную, разумную, очень красивую и нежную женщину, которая, перестав быть, превратилась…

Я смотрел на реку: во что?

Веял легонький ветерок, и рябь волнушек на Белой бежала налево, к ремзаводу, против течения, и почудилось мне, что река течет не направо, как испокон веков, а – как время – неизвестно куда. Я задумался: время… Время. Наше, земное время идет к смерти – это ясно; бессмертие души останавливает небесное время – его там попросту нет; но третье время – время между мной и Машей – вероятно, существует? Какое оно, это время – время между живыми и мертвыми? Я ничегошеньки не понимал и тревожился: как же там, на небесах, где всё иное, Машина и моя души узнают друг друга? Ведь Маша навсегда (на-всег-да) останется двадцатидевятилетней, а сколько проживу я – неизвестно. Как мы узнаем друг друга? Очевидно, там, на небесах, Маша обо мне вспомнила и, как всегда и как на земле, решила помочь мне: маленькая Маша – Маша первой нашей встречи – неожиданно в меня заглянула, вроде бы выплывая из образа еще не созданной маленькой заключенной девочки.

Я просто-таки видел ее – первоклассницу – с бантиками, чернильным пятнышком на среднем пальчике и простеньким взором щенка, принимающим к сведению окружающий хаос сущего. Она пошевелила русой своей головою, и, наконец, мы встретились взорами. Желтенькие глаза ее смотрели на меня совершенно обыкновенно, заменяя собою все вопросы как этой, так и той, предстоящей нам с ней жизни.

«Вот и ответ», – вздохнул я и, почувствовав невыразимую свежесть и простоту иного, чем на земле, счастья, захотел помолиться за всех и за всё.

Я вынул руки из карманов плаща и мысленно помолился, глядя туда, куда смотрел всё свое детство, – на «тот» берег.

Сергей Круль

**Там, где дом моей матери**

**(глава из книги)**

**Моя улица**

Никогда раньше я не стремился так домой, как тем летом в августе 71-ого, когда возвращался в Уфу из студенческого стройотряда после первого своего длительного отсутствия в городе. Я не узнавал родных мест и, пытаясь найти объяснение чувству восхищения и новизны, овладевшему вдруг мной, ревниво и беспокойно вглядывался по сторонам. Нет, ничего не изменилось, слава Богу, всё по-старому. Железнодорожный вокзал до сих пор не отреставрирован и выглядит довольно жалко, хотя и веет какой-то особенной, угасающей старинной красотой. Что и говорить: старое здание, отстроено еще в прошлом веке и стоит со дня пуска железной дороги вот уже восемьдесят лет. И привокзальная площадь, запруженная автомобилями, автобусами, людьми, захламлена и неуютна; кажется, она уже мала растущей столице.

Автобус, пыхтя и отдуваясь, пересек трамвайные пути и медленно вполз на извилистый дорожный спуск, с которого начинается знакомство с городом для всякого прибывающего в него поездом. Мимо неспешно проплывают утопающие в пыльной и буйно разросшейся, неухоженной зелени одноэтажные кособокие домишки, там и тут прилепившиеся по крутым склонам холма, несколько минут – и вот я уже наверху, возле любимого всей уфимской детворой парка Якутова, зазывно гудящего радостным гудком детского паровоза. Сердце запрыгало в груди от волнения – быстрее, быстрее! – последний шумный перекресток – и вот он, уже виден, мой дом, пятиэтажный желтый красавец, кокетливо укрывшийся в развесистой тени палисадника. Боже мой, как я соскучился! Бросаюсь в раскрытые двери автобуса и, схватив дорожную сумку, стремглав перебегаю полупустую улицу. Протискиваюсь по привычке в узкий проем чугунной оградки, неизвестно кем и когда проделанный (кажется, он существует всегда), и влетаю в четвертый подъезд, звоню, не переставая, пальцы словно прилипли к звонку. Наконец, дверь открывается и на пороге улыбающаяся мама, в мокром цветастом халате, стыдливо прячет мыльные руки, поспешно обтирая их о край клеенчатого передника. Сумка валится у меня из рук, и я падаю в родные объятия. Здравствуй, моя обитель, пристанище дум и печалей, моя надежда и оплот всех моих начинаний! В квартире всё по-прежнему: отец в командировке, Володя на улице, мама стирает, о чем говорят повсюду высящиеся горы чистого и еще не глаженного белья. Отдаю маме покупки, заработанные деньги (они, как всегда, кстати) и, наскоро перекусив, бегу на улицу, тем более что погода стоит отличная – тихая, спокойная, для августа необычайно теплая.

Вот и всё, я дома, в своем городе, на своей улице, носящей имя немецкого революционера Карла Маркса, или попросту Карлухе, как мы называли ее между собой. Каждый дом, каждый камень, каждый поворот знакомы мне с детства, я знаю их наощупь, вслепую, и, где бы я ни был, меня неудержимо тянет сюда, ибо давно уже улица стала частицей меня самого. Я люблю эту улицу, мне она кажется самой привлекательной и старинной, так же, как и мой дом всегда казался мне самым высоким домом в городе. Сколько раз я загорал на его щедрой и гостеприимной крыше, готовясь к школьным экзаменам, и вся Уфа была у меня как на ладони: так далеко и необозримо просматривались ее окрестности. Не знаю, почему, но мне, например, жалко, что после того, как через дорогу в один миг выросла и вознеслась, гордо красуясь в воздухе, новая четырнадцатиэтажка, старый дом как-то поник и пристыженно замолчал, видимо, чувствуя, что время его уходит.

Да, годы многое меняют, меняемся и мы вместе с ними, но что-то в душе остается прежним и неизменным, как неизменна любовь к родному городу.

Облик улицы начал вырисовываться в начале XIX века, когда в 1800 году на высоком берегу реки Белой, на пустыре, было построено крепкое, добротное здание духовной семинарии и улица получила свое первое название – Семинарская. Небольшая, в несколько десятков дворов, она протянулась до Кузнецкой улицы, где стояли первые городские кузницы (ныне улица Чернышевского). Приезд в Уфу в 1824 году императора Александра I, помимо всего прочего, имел для улицы неоценимое значение и открыл дальнейшие перспективы ее роста. По Высочайшему соизволению, неподалеку от городского острога, на возвышении была возведена церковь имени Александра Невского, которая буквально преобразила прежде тихую, забитую улочку, получившую с тех пор гордое имя Александровской. Высокая, строгая, выполненная в классическом архитектурном стиле, новая церковь сразу полюбилась горожанам и имела усердный и немалочисленный приход (в 1886 году он насчитывал около двух тысяч верующих при общем населении в 26976 человек, как то отмечает секретарь уфимского статистического комитета Н. А. Гурвич в записке к трехсотлетию города). Когда смотришь на прекрасную фотографию Aполлония Зираха, где благолепная церковь стоит в окружении двух равновысоких зданий (ныне казармы ШМАСа – школы младших авиационных специалистов, вид со стороны улицы Гоголя), невольно на ум приходит сравнение со знаменитой улицей Росси в Петербурге.

Александровская церковь, в позднее время обнесенная ажурной металлической решеткой, была подлинным украшением улицы, и с любой точки города можно было видеть ее характерную золоченую маковку с крестом, притягивавшую к себе всякий посторонний взор. Не в последнюю очередь благодаря этому обстоятельству улица стала вскоре бурно застраиваться двух- и трехэтажными каменными домами с особняками, среди которых дожили до наших дней, не утратив прежнего обаяния, дом купца Костерина на углу Голубиной (Пушкинской), Большая Сибирская гостиница (Дом офицеров), магазин Каримова и Шамгулова (ЦУМ), особняк Поносовой-Молло (ныне Академия наук РБ).

Окончательно судьба улицы решилась при строительстве железной дороги Самара – Златоуст, пущенной в действие в 1888 году, и, таким образом, пройдя рядом с Солдатским озером, по соседству с которым был устроен парк народной трезвости (ныне парк Якутова), и соединившись с Казачьей дорогой (по всей видимости, это бульвар Ибрагимова), Александровская улица уперлась в железнодорожный вокзал, став одной из главных путевых магистралей города.

Революция не пощадила наш город, ворвавшись в его спокойный и размеренный быт хриплыми, отрывистыми гудками паровозов, красными полотнищами и пьяными толпами бесчинствующих людей. Первыми пострадали церкви и мечети. Не Бог весть каким была Уфа губернским городом, но жилось в нем привольно и ремесленному, и фабричному люду, и приказчикам, и торговцам, и башкирам, и русским. Все жили по-разному: кто худо-бедно, кто побогаче, но все желали добра родному Отечеству и не помышляли о злом, покуда не пришла к власти кучка отщепенцев, вооруженных маниакальной идеей, и не озлобила растерявшийся народ, обманом, растлением и угрозами перетянув его на свою сторону.

Из имевшихся в городе более двадцати культовых сооружений остались в целости соборная мечеть и несколько второстепенных православных церквей (последней в 1956 году была уничтожена самая древняя церковь – Троицкая, которую можно было с полным основанием назвать прародительницей города, ибо построена была еще в 1579 году). Александровская церковь не стала исключением. Отец рассказывал мне, как в 40-ые годы на месте церкви, в стенах которой был размещен механический завод, не раз возникали пожары: горели наспех возведенные деревянные перекрытия, и тяжелые, привезенные издалека станки с грохотом и воем летели с высоты десяти-пятнадцати метров, пугая окрестных жителей. – Вот оно, приспело, наказание Господне! – кричал возбужденно и неистово молящийся люд и, охваченный праведным гневом, радовался, посылая проклятья безбожникам. С тех пор завод получил прозвище «горелый», которое прочно прилепилось к нему, так что никто и не вспоминал, чем в действительности на нем занимались.

И город начал понемногу терять, забывать себя, свои улицы, дома, переулки, и жизнь, которая когда-то неспешно и основательно текла в его жилах, стала останавливаться, пропадать и вскоре исчезла из виду, канула в небытие, сменившись новой, бурной и мутной жизнью, где верх захватили совсем другие люди, перекати-поле, оторвавшиеся от культурных корней своего народа и вообразившие, что им всё позволено. Обезобразив лицо города и разрушив всё, что можно было разрушить, они принялись за память. Десятки уфимских улиц, парков, садов враз были переименованы, и на карте города запестрели имена и клички новых хозяев жизни. Александровской улице досталась участь носить имя немецкого борца за свободу угнетенных народов, жившего в роскоши и довольстве, но нисколько этим не стеснявшегося, толстяка с широченной бородой – Карла Маркса.

Ничего этого еще не зная, я бродил по улице, знакомясь с ее переулками и дворами, вдыхал аромат старинных домов и особняков и поражался ее удивительному уюту и тихой, неброской красоте, которая, казалось, поселилась тут навсегда. Вот дом на углу Революционной (б. Богородской). Крепкий, высокий, пятиэтажный, крашенный в желтую краску, в одном из подъездов которого была устроена детская библиотека. Помню, как я впервые очутился в ее просторном хранилище, сплошь уставленном высокими, до потолка, стеллажами с бесчисленными рядами книг. Мне разрешили пройти, и восхищенный взор долго не мог оторваться от сочинений Фенимора Купера – шесть зеленых книг, украшенных по корешку растительным орнаментом. Я выбрал одну из них, кажется, это был «Следопыт», и направился к выходу. Узнав, что мне нет семи лет и что я не хожу в школу, библиотекарша категорически отказалась выдать книгу: «Дошкольникам книг не выдаем!» Горю моему не было предела. Как же так – я ведь умею читать! В слезах я побежал просить старшего брата Володю, который уже учился в школе и наверняка имел право быть записанным в библиотеку. В то лето я буквально бредил приключениями, читал книги запоем, проглатывая их одну за другой, по целым дням не выходя на улицу. Когда же весь Купер был прочитан, как бы в продолжение чтения, я написал свой рассказ, вычерчивая левой рукой первые свои печатные буквы и связывая их в слова.

Вот кинотеатр повторного фильма, известный еще под именем Дома крестьянина. Какие только фильмы не показывали в нем: от блестящего Чаплина и «Неуловимых мстителей» в самом первом, немом варианте до итальянского «Ромео и Джульетты» с музыкой Нино Рота. Это был самый доступный в округе кинозал (в любое время десять копеек), до которого всегда можно было добежать, выскочив из дома за пять минут до начала сеанса. Суровая билетерша, из последних сил удерживая осаду и отбиваясь от неугомонных ребятишек, в конце концов теряла терпение и, потушив свет, под титры, мелькавшие на полотняном экране, пропускала в зал всех желающих. Натыкаясь в темноте на деревянные кресла, мы с шумом разбегались, оккупируя оставшиеся свободные места и вызывая недовольство солидной публики. Через мгновение все затихало, успокаивалось и зал, позабыв обо всем и сливаясь в едином порыве, устремлял свои взоры туда, где происходило волшебство. Разве можно забыть эти минуты бесконечного счастья! Конечно, небольшому, почти домашнему залу на восемьдесят мест трудно было соперничать с шикарным дворцом «Родина», имевшим просторное фойе, буфет, уютную комнату для отдыха и три кинозала (два больших – синий и красный – и один поменьше – зеленый), где всегда демонстрировались первыми новые зарубежные киноленты. Но что-то дрогнуло, пошатнулось в душе, когда кинотеатр повторного фильма закрыли, переоборудовав под модное и совсем недолго просуществовавшее кафе.

А напротив нашего дома неприступно и извилисто тянулась высокая чугунная ограда, скрывавшая от нас другую, неизвестную жизнь, где серо и однообразно тянулись нелегкие солдатские будни. Молоденькие, розовощекие солдатики в мешковатой, неуклюже сидящей, новенькой форме пробирались к ограде вдохнуть глоток свободного воздуха и, подзывая к себе случайных прохожих, упрашивали сбегать их за куревом и хлебом. Нередко возле ограды можно было видеть бойких девушек, оживленно разговаривающих о чем-то с солдатами, на усталых лицах которых в те минуты появлялись совсем детские, наивные улыбки. По праздникам открывались главные ворота и оттуда под бодрые звуки гремящего духового оркестра, чеканя ровный шаг, появлялись подтянутые колонны и уверенным строем шествовали по улице, останавливая движение машин и вызывая непреходящую зависть мальчишек.

Рядом с казармами, в глубине улицы, находилось стрельбище, куда частенько бегала дворовая ребятня подбирать использованные гильзы. Этого делать не разрешалось, и требовалась определенная сноровка и дерзость, чтобы перемахнуть через высоченный забор, собрать разбросанные в беспорядке гильзы и тут же в один миг вернуться обратно, удирая от возмущенного охранника. Я не участвовал в подобных забавах, так как наверняка бы попался по своей неповоротливости, но мне было интересно, и я ходил наблюдать за всем этим издалека, надеясь, что и мне что-нибудь перепадет. Мне нравились гильзы: маленькие, блестящие, они притягивали к себе существованием какой-то особой тайны. Я любил играть с ними в своем углу по вечерам, в тишине, выстраивая из гильз шеренгу солдатиков и сбивая их катящимся стальным шариком.

Всё мое детство было пропитано разными, непохожими друг на друга, тайнами. Такова, видимо, была особенность моего восприятия жизни, которую я не торопился понять и разгадать сразу, с одного захода, оставляя многое на потом и продлевая сладкие мгновения неведения. Я окончил школу, поступил в авиационный институт, хотя никогда не увлекался техникой, закончил и его, женился, переехал жить в Черниковку, но первой и единственной родиной для меня навсегда осталась Александровская улица, куда меня тянули воспоминания. Только здесь, на этой улице, я чувствовал себя спокойно и уверенно, и, пока она существует, жив и я, и мне есть куда прийти, посидеть с братом за нехитрой беседой и, глядя через кухонное окно, еще раз посмотреть во двор, где шумит посаженная при нас теперь уже окрепшая и высокая береза, и вспомнить всё, чем жили мы когда-то тридцать лет назад.

Михаил Чванов

**Четверо наедине с горами**

**Рассказ**

Четверо шли по леднику. В две связки.

Четверо шли по леднику и молча улыбались друг другу: была прекрасная погода, и трудные горы оставались позади. В горах не увидеть такой улыбки. Так могут улыбаться лишь люди, которые много дней шли в горах, связанные одной веревкой, и теперь они благополучно возвращались вниз.

Каждый думал о своем. По разным причинам люди уходят в горы. Одни – искать себя. Другие – наоборот: убежать от себя. Но от себя никуда не убежишь. Пока идешь к цели, вроде бы забудешь обо всем, что осталось внизу, – одни только горы. Но стоит повернуть назад, все снова наваливается тебе на плечи.

Четверо шли по леднику, и каждый жил уже той жизнью, что ждала его внизу. Вдруг тот, что шел первым, покачнулся, взмахнул руками. В том месте, где он только что шел, путь перерезала огромная трещина.

Второго рвануло веревкой, бросило на ледник. Он пытался встать, но его неумолимо волочило к открывшейся трещине.

Сбросив рюкзаки, Третий и Четвертый бросились ему на помощь, но бежать по глубокому свежему снегу было очень трудно.

Второй сумел зацепиться за небольшой уступ под снегом, но удержался он на нем лишь мгновение, его снова опрокинуло на спину и поволокло дальше.

Третий и Четвертый путались в снегу и видели, что уже поздно. Но на самом краю трещины Второму удалось воткнуть в лед штычок ледоруба. Распластавшись на льду, он повис над обрывом.

Третий и Четвертый бежали, теряя последние силы. Вдруг Второй выхватил нож и одним ударом перерубил натянутую, как струна, веревку.

Третий и Четвертый ошеломленно остановились, словно задохнулись горячим свинцом. Из трещины донесся отчаянный вскрик, а за ним удары падающего тела.

Потом – несколько мгновений – гнетущая тишина.

Потом Второй встал и сделал несколько быстрых шагов от трещины. В нерешительности остановился.

И снова была цепенящая тишина. Словно горы звенели, и вот-вот что-то должно было лопнуть.

Двое стояли в глубоком снегу против Второго, и обезумевшие от бега сердца колотились в висках.

В глазах Второго метнулся ужас. Он сделал еще один шаг им навстречу, но двое стояли, не шелохнувшись. Он покачнулся, обхватил голову руками и, спотыкаясь, пошел назад к трещине. Остановился на краю, снова шагнул в сторону и тяжело осел в снегу.

Еще напряженнее зазвенели горы.

Вдруг Третий сорвал с плеча карабин.

– Встань! – закричал он, но крика не получилось, словно в разорванном горле клокотала кровь. – Вста-а-нь! – закричал он, и эхо испуганно заметалось в скалах.

Второй медленно и удивленно поднимался. На его лице бродила странная улыбка, и зачем-то он старался стряхнуть со штормовки снег.

Третий вскинул карабин, но руки его дрожали, и мушка карабина обезумело металась по вершинам гор.

Четвертый бросился к Третьему, толкнул его в плечо, грохнул выстрел, и оба, поскользнувшись, упали в снег.

Боялись открыть глаза, и кованый ботинок Третьего уперся в лицо Четвертому.

Одновременно вскочили... Второй по-прежнему стоял на краю трещины, и странная улыбка корчилась на его сером лице.

Двое бросились ему навстречу. Второй шире расставил ноги и остался на месте. Странная улыбка не сходила с его губ. Он ждал решения своей судьбы. Но они больше не обращали на него внимания. Они лихорадочно вбивали в лед крючья и разбирали веревки.

– Вадим! – с надеждой крикнул в трещину Третий, но в ответ была гнетущая тишина. – Ва-а-дим! – повторил он в отчаянии, но в трещине по-прежнему было тихо.

Второй в оцепенении стоял в стороне, и улыбка мертвой маской застыла на его лице. Словно очнувшись, он шагнул к ним.

– Ребята, что мне делать? – прохрипел он. Но они больше не обращали на него внимания, они разбирали веревки.

– Ребята!

Они не обращали на него внимания. Они готовились к спуску.

– Пристрелите меня!

Они не обращали на него внимания. Где-то внизу лежал их товарищ, живой или мертвый.

– Ребята, пристрелите меня! – прошептал он.

– Не мешай, – устало ответил наконец Четвертый. – Не мешай! Уйди! Сейчас не до этого...

Но он никуда не уходил. Его присутствие угнетало их, он видел это. Но ему некуда было идти. И он стоял – сгорбившись и низко опустив руки.

Тянулись секунды. Складывались в минуты, долгие, как столетия. Напряженно шуршала тишина.

– Что стоишь? – не выдержал Третий. – Держи веревку.

Второй не верил своим ушам, Он не ожидал от них такой милости. Еще пару минут назад он мог, улыбаясь, хлопнуть каждого из них по плечу, теперь же между ними была страшная бездна.

– Ну, чего стоишь?! Держи или убирайся к черту! – закричал Третий, и Второй бросился ему на помощь.

Третий спустился в трещину. Второй и Четвертый остались на страховке и не смотрели друг на друга. Каждый раз, когда случайно прикасались плечами, оба вздрагивали. И оба напряженно вслушивались в веревку.

Наконец снизу послышался крик.

Но они еще не верили, что это правда.

– Повтори! – неуверенно крикнул вниз Четвертый, и оттуда снова донеслось:

– Жи-ив! Жи-ив! – и звонкое эхо глохло в ослепительно-белых снегах.

Четвертому хотелось кричать от радости, но надо было держать веревку, и было почему-то противно показывать свою радость перед Вторым. А Второй ссутулился еще больше, теперь ему придется смотреть в глаза не только Третьему и Четвертому, но и тому, что раньше шел первым.

Подъем из трещины был невероятно долгим и трудным. У того, что раньше шел первым, было сломано несколько ребер, рука и нога, и каждое движение причиняло ему сильную боль.

Невероятнейшие приспособления, варианты узлов и перетяжек... Бесчисленные спуски и подъемы... И уже давным-давно потеряли счет времени. И ожесточеннее всех работал Второй. Он не поднимал глаз и молча вбивал крючья. Рискуя сорваться, без страховки повисал на ледяных стенах, устраивал очередную перетяжку; выходил наверх, снова спускался...

Потом тот, что раньше шел первым, на штормовках лежал на снегу. Двое вязали самодельные носилки, а Второй, отвернувшись, стоял в стороне.

...И снова четверо шли в горах. Час за часом. Один пробивал тропу. Двое несли носилки. И все молчали.

Потом началась пурга. Горы растворились в белой тьме, и не было видно, куда идти.

Натыкались на скалы, пятились назад, надеясь обойти их стороной, и снова возвращались на свои следы. Заблудились. Сидели под навесом скалы и слушали тоскливое завывание ветра...

– Бросьте меня, ребята, – сказал вдруг тот, что раньше шел первым.

Трое молчали.

– Оставьте меня здесь.Трое молчали.

– Потом вернетесь...

– Брось кривляться! – не выдержал Третий. – Брось кривляться, как в красивых романах! – зло повторил он. – Ведь знаешь, что не бросим. Не имеем права бросить. Так какого же черта ты треплешься?

– Я хотел как лучше.

– А если хочешь как лучше, лежи и молчи.

Уже много часов четверо кружили где-то на одном месте. Скалы и пропасти не выпускали из западни. Где-то совсем рядом должна быть тропа, но горы растворились в белой тьме. Третий растянул ногу и носилки нести уже не мог. Опираясь на ледоруб, он тащился сзади. Его карабин нес Второй.

И снова сидели под тем же самым навесом скалы.

Тогда ушел Второй. Он ничего не сказал, встал и ушел. Никто его не останавливал, и даже никто не посмотрел ему вслед.

В сумерках стали ставить палатку. Ничего другого не оставалось делать. Шквальный ветер пронизывал насквозь одежду и вырывал из рук стылое полотнище. Потом лежали во тьме сотрясающегося от порывов ветра брезента и вслушивались в тоскливую жуть пурги. Toт, что раньше шел первым, стонал. Он замерзал, несмотря на то что на него надели все, что только можно было снять, чтобы самим окончательно не замерзнуть. Его нужно было срочно спускать вниз, но за стенкой палатки свирепствовала пурга, и никто не знал, когда она кончится. Ждали утра.

Но утро не оправдало надежд. Пурга не утихла. И уже давно погас примус: кончился бензин.

Но тут появился Второй. Он появился внезапно, но никто не удивился его возвращению.

– Я нашел тропу. Надо идти, – глухо сказал он.

Теперь группу вел он. Уходил вперед, проверял тропу, возвращался и брал в руки носилки. Снова уходил. И все молчали. И казалось, что этой дороге не будет конца. И смерть уже была нисколько не страшна. Она казалась избавлением, лечь бы на снег и уснуть. И черт с ней – с жизнью, и черт с ним – со всем, что осталось внизу. Только кончилась бы поскорее эта страшная дорога. Только кончились бы эти мысли. Но надо было донести вниз того, что раньше шел первым.

Потом они шли по долине среди цветов. И все, что случилось за перевалом, казалось им зыбким и страшным сном. А может быть, ничего этого и не было, может, это действительно только сон? И хотелось броситься в траву и все забыть, но на носилках стонал тот, что раньше шел первым.

Потом они вышли на дорогу. Надо было радоваться: до ближайшего населенного пункта оставалось около двух километров. Но с каждым шагом они мрачнели все больше. Над ними висела гнетущая тень случившегося, и никто из них не знал, что они скажут людям.

Потом их догнал автобус. Это были туристы из ближайшего санатория. Они восторженной толпой окружили четырех измученных, с глубоко провалившимися глазами людей. Они впервые видели настоящих альпинистов, только что спустившихся с гор. А альпинисты даже не могли говорить и, казалось, ничего не слышали. Широко расставив ноги, они угрюмо стояли посреди дороги, словно были не рады, что спустились вниз.

Одна из туристок, молоденькая девушка, подбежала к альпинистам и смущенно сунула одному из них в руки растрепанный букетик придорожных цветов.

Тот, что раньше шел вторым, с ужасом смотрел на цветы в своих руках, словно это были не цветы, а букет страшных змей. Он растерянно повернулся к товарищам, но те хмуро отвернулись, в это время на носилках застонал тот, что шел первым, и они склонились над ним.

В глазах Второго стремительно росло отчаяние. Губы его мелко и по-детски задрожали. Он покачнулся и пытался куда-то идти. Но идти было некуда, и он ошеломленно стоял на месте. И цветы сыпались на дорогу сквозь обмороженные черные пальцы.

**Камиль Зиганшин**

**Лохматый**

**Рассказ**

Молодцеватый, несмотря на свои пятьдесят семь лет, Федор Дементьевич, или, как его звали в деревне, Лапа, стоял, оперевшись в широкие свежеструганные доски крыльца, и в который раз оглядывал новенький дом зятя.

С шумом распахнулась дверь, и из нее вывалились, похохатывая, плотная, во всем похожая на отца, дочь Наталья и высокий жилистый зять.

– Пап, кончай смолить. Пошли в дом, замерзнешь, – выпалила она.

– Да, пора мне, Натаха, – сказал Лапа, кивнув на расплющенный между туч багровый глаз солнца. И, потоптавшись, неторопливо спустился по ступенькам в пока еще неухоженный, необжитый двор.

– Лохматый! – уверенно и властно позвал он собаку и направился к переминавшемуся с ноги на ногу от мороза и нетерпения Гнедко. Ласково похлопал его литой круп. Расправил упряжь. Взбил в санях сено. Укрылся тулупом и удобно устроился в розвальнях, облокотившись на тугой, прикрытый брезентом, мешок муки.

– Бывайте здоровы! Ждем в гости, – крикнул он, обернувшись.

Крупный, с мощным загривком, лохматый кобель, крутившийся вокруг, рванул вслед заскрипевшим саням и в мгновение ока обогнал затрусившего ровной рысцой мерина. Миновав поселок и густую сосновую посадку въехали в березовый с осиной пополам лес. Солнце скрылось за ощетинившимся верхушками деревьев, холмом. Темнело.

– А все-таки правильно, что в августе на новоселье не поехал, – подумал Лапа. – Дотянул до срока и сразу двух зайцев убил: у молодых побывал и мясо продал. Однако, башка у меня с толком, — самодовольно улыбнулся он, поглаживая бороду.

Дорога нырнула под гору и завиляла по стиснутой увалами долине ручья. Сани на покатых ухабах мерно покачивали, точно баюкали. Лапа, не выпуская вожжей, вытянулся и с удовольствием прикидывал, как распорядится выручкой.

Он не любил людей, не умеющих зарабатывать. “Лентяй или простодыра” – говорил о таких. Вот и зять тоже хорош! Буровой мастер называется! Цемента не может подкинуть... Тоже мне – порядочный! Тьфу! – сплюнул он.

Его размышления прервало испуганное фырканье Гнедко.

Конь тревожно прядал ушами и, раздув ноздри, опять фыркнул. Бежавший впереди Лохматый прижался поближе к саням. Лапа обернулся и, шаря глазами по сторонам, заметил какое-то движение вдоль увала. Смутные тени скользили по гребню не таясь, открыто! Волки!!!

Противно заныли пальцы, засосало под ложечкой.

– Но! Но! Пошел! – сдавленно просипел Лапа, наотмашь стегнув мерина, хотя тот и без того уже перешел на галоп и, вскидывая в такт прыжкам хвост и гриву, несся по накатанной дороге так, что ветер свистел в ушах. Деревья, стремительно вылетая из темноты, тут же исчезали за спиной. За упряжкой потянулась вихрастым шлейфом снежная пыль.

Волки растворились во тьме. Лента дороги вместе с ручьем петлей огибала высокий, длинный увал. Хорошо знавший окрестности матерый вожак неспешно перевалил его и вывел стаю на санный путь к тому месту, куда во весь дух несся Гнедко.

Лапа, нахлестывая коня, лихорадочно соображал, что делать: стая не могла так легко оставить их в покое. Он чуял, что, петля таит смертельную опасность, но повернуть обратно не решался – поселок уже был слишком далеко.

– Авось упрежу, – успокоил себя Лапа. И, придерживая вожжи одной рукой, другой нашарил в сене топор.

Внезапно мерин дико всхрапнул и, взметая снег, шарахнулся в сторону - наперерез упряжке стрелой вылетела стая. Мощный главарь сходу прыгнул на шею Гнедко. Еще миг – и тот бы пал с разорванным горлом, но оглобля саданула зверя в грудь, и он рухнул на снег. Лапа опомнился, схватил и с силой метнул в стаю мешок муки.

Увесистый куль еще не успел упасть, как волки живой волной накрыли его и растерзали в белое облако. За это время Лапа успел выправить сани на дорогу.

– Давай! Давай! – осатанело заорал он, нещадно лупцуя мерина кнутом. Обезумев от жути и боли, Гнедко нёсся, стреляя ошметками снега из-под копыт.

Он обошел умчавшегося было вперед Лохматого.

“Неужто оторвемся?” – мелькнула надежда.

Сани неслись по ухабам то возносясь, то падая. На поворотах Лапу бросало из стороны в сторону. А сзади неумолимо накатывалась голодная стая. Лапа ощущал это каждой клеткой тела. Вот вожак, парализующе клацая зубами, попытался достать не поспевавшего за упряжкой Лохматого, но пес, в смертельном ужасе прибавил ходу и, изнемогая запрыгнул в розвальни.

Вытянувшись вдоль узкой колеи, стая бежала свободно, легко, как бы скользя по снегу, молча и неотвратимо настигая выдыхавшегося коня.

Лапа явственно слышал их прерывистое дыхание. Еще немного и волки, пьянея от горячей крови, разорвут, растерзают долгожданную добычу на куски. Он выдернул из под себя овчинный тулуп и швырнул на дорогу. Звери на секунду задержались, но, обнаружив обман, возобновили погоню с еще большей яростью.

Лапа снимал и кидал в сторону стаи то шапку-ушанку, то рукавицы, но однажды одураченные серые не обращали на них внимания. Разгоряченная преследованием стая, жаждала крови и мчалась, неумолимо сокращая расстояние. Бешеная, изматывающая гонка близилась к жуткому финалу.

Охваченный страхом Федор Дементьевич, не умолкая, иступлено вопил, брызгая слюной, то на коня: “Быстрей, Гнедко, быстрей!”, то, обернувшись назад, устрашающе тряся топором на стаю: “Порублю! Всех порублю!”.

Казалось еще несколько секунд – и матерый повиснет на руке, а остальные трое станут рвать его, еще живого на куски...

Мужик лихорадочно огляделся. В ногах жался Лохматый.

Глаза Лапы вспыхнули сатанинским огнем – собака? Живая тварь, кровь – вот, что нужно стае! Он ногой пихнул пса навстречу смерти, но бедняга, широко раскинув лапы, удержался. Все его существо выражало недоумение и обиду.

– Пошел, паскуда, – срываясь на петушиный фальцет, завизжал разъярившийся Лапа и нанес сапогом увесистый удар.

Лохматый скособочился, и, сомкнув челюсти, мертвой хваткой, вцепился в борт саней.

А волки были совсем близко. Лапа уперся спиной в передок, поджал ноги и с такой силой ударил по лобастой голове, что пес, оставив на гладко отполированном дереве светлые борозды от клыков, косо слетел с саней и, перевернувшись в воздухе, рухнул на дорогу. Слух полоснули истошный визг, глухой рык.

“Всё, конец”, – подумал Лапа передергиваясь. В беспощадной памяти остался немигающий, укорительный взгляд собаки.

Упряжка промчалась сквозь ольшаник и вывернула из ложбины на заснеженный холм, откуда уже видны редкие огоньки деревни. Загнанный Гнедко замедлил бег.

Только тут полураздетый Лапа почувствовал, как трясется от страха и холода все его тело. Закопавшись в сено, он натянул поверх кусок брезента и настороженно вглядывался в удаляющийся непроницаемо-черный лес. Испуг постепенно отпускал, уходил как бы внутрь. Но раз за разом прокручивая в памяти происшедшее, Лапа то и дело невольно ежился.

Въехав на окраину деревни, он попридержал запаленного коня: "Добрый, однако ж, у меня мерин. Другой не сдюжил бы такой гонки”.

Подъезжая по унылой, пустынной улице, к своей красавице-избе за сплошным крашенным забором, расчувствовался: “мог ведь и не увидеть боле”.

Ставни были плотно закрыты. Свет не горел.

– Спит чертовка. Ей-то что, – злился Лапа, вылезая из саней. Открыл ворота, загремел сапогом по двери.

В доме глухо завозились. Торопливо засеменили. Лязгнул засов. Дверь приоткрылась и Лапа, не взглянув, прошел мимо тощей фигуры в сени. Щелкнул выключателем –темно.

– Лампочка перегорела, Федя, – тихо пояснила жена. Лапа чертыхнулся и скрылся за ситцевым занавесом в жарко натопленной горнице.

– Не думала, что так скоро. Назавтра ждала, – оправдывалась хозяйка.

– Мечи на стол, замерз, — скомандовал муж, опускаясь на табуретку. – Эх, черт, Гнедко-то на улице, – и, нахлобучив старую ушанку, поспешно выскочил.

Распряг и завел мерина в теплое стойло. Накрыл подрагивающие, взмыленные бока попоной. Подложил в кормушку охапку сухого душистого сена.

– Ешь. Это тебе за справную службу, – Лапа протянул руку погладить ухоженную гриву, но мерин почему-то отвернул морду.

– Ты чего?...Чего ты?… Эт ты зря! Да если б не Лохматый – мы б все погибли. Понимаешь – все! А я спас тебя… Спас! – горячо зашептал, оправдываясь, Лапа. Гнедко, тяжело дыша, упорно смотрел в сторону.

“А может и не погибли б?” – неожиданно уличил Лапу кто-то изнутри. Топором саданул одного, глядишь, другим острастка, а то и на порубленного собрата позарились бы”.

От этой простой мысли Федор Дементьевич сник. “Совсем я расклеился. Чего голову себе морочу... Что сделано, то сделано... и сделано правильно”.

Проходя мимо конуры, зацепил цепь. Она сиротливо звякнула и обожгла сердце тупой болью. Пересиливая внезапно навалившуюся слабость, – он воротился в избу.

Жена ждала у накрытого стола. Умывшись в прихожей, сел, прижался спиной к теплой печке и замер.

– Как съездил Федя? Видал молодых-то?

– Видал... Живы - здоровы. Хоромы здоровущие, со всеми удобствами. Топят газом. Обещают на недельку приехать... Помочь по хозяйству.

– Да у них, поди, у себя в дому работы хватает,— робко возразила жена.

– Ничего, у себя всегда успеется.

– Мясо-то продал?

– А то! Мясо — не редька, только свистни, – Лапа нащупал завораживающе толстую пачку купюр и, вспомнив про подарок, вынул из другого кармана сверток.

– Держи, — развернул он цветастый платок.

– Ой, спасибо, Федя! Ой, спасибо!.. А красавит-то как!

– Будя трепаться, - грубовато оборвал Лапа, шумно хлебая щи.

Примерив обнову у зеркала, жена еще более оживилась. На губах заиграла несмелая улыбка. Прибирая со стола, обронила:

– Пойду Лохматому костей снесу.

Лапа чуть не поперхнулся.

– Ложись-ка лучше, сам покормлю. Посмолю заодно перед сном, — торопливо возразил он, — да и Гнедко пора поить.

Взяв миску, он вышел на свежий воздух. Покурил. Напоил коня. Опять покурил. Сколько не старался Лапа заставить себя думать о происшедшем, как неизбежном и оправданном, гибель Лохматого занозой сидела в мозгу, палила огнем.

В постели Лапа без конца ворочался с боку на бок. Перед воспаленным взором вновь и вновь возникала одна и та же картина: сквозь вихри снежной пыли взлетает темный силуэт, плавно переворачивается в воздухе и скрывается в гуще голодной, разъяренной стаи. Взлетает, переворачивается и...

За окном время от времени раздавались странные, непонятные вздохи. Он, напряженно вслушиваясь в них, незаметно забылся. И опять стая догоняла, окружала его, неумолимо затягивая живую петлю все туже и туже. В голове возник нарастающий гул смерти. А...а...а...! - заметался Лапа.

– Федя, ты чего? Что с тобой? Заболел? — трясла за плечо жена.

Лапа затравленно уставился на нее - не мог взять в толк, где находится - все еще жил привидевшимся. Оглядевшись, наконец, узнал дом и жену.

– Фу ты, — облегченно выдохнул он.

– Чего кричал так, Федя? — допытывалась встревоженная супруга.

– Мяса видать переел. Мутит. Не доварила верно... Спи...

Жена принялась участливо гладить сивые, непокорные кудри мужа. Так и заснула, оставив маленькую жесткую ладонь на голове. Лапа осторожно убрал ее на подушку. Сон не шел. Чем старательнее пытался он отвлечься, думать о чем-нибудь приятном, тем назойливей лезли в голову мысли о Лохматом.

С щемящей тоской вспомнилось, как принес его, еще безымянного щенка, домой. Как радовался тому, что растет сильный, не признающий чужих, страж усадьбы. Как преданно сияли его глаза, как ликовал, суматошно прыгал, захлебывался счастливым лаем, встречая с работы; с какой готовностью он исполнял все желания хозяина.

Промаявшись почти до утра, Лапа осторожно встал, оделся и вышел в сени. Отпер дверь.

У крыльца из предрассветной мглы проступило косматое чудище: морда в рваных лоскутах кожи, ухо болтающееся на полоске хряща, слипшаяся в клочья шерсть, злобно ощерившаяся пасть

– Лохматый?! Ты?! Не может быть…

Растерявшийся Лапа, невольно попятился, запнулся за порог и упал...

В голове вновь возник нарастающий гул смерти…

**Светлана Чураева**

**Как я провёл лето**

**Рассказ**

Однажды мы с другом Максом махнули в Америку – убивать президента Рейгана. Взяли все сбережения, пачку печения, фляжки с водой, спички, компас и, конечно, ножи. Мы знали, если двигаться всё время на запад, обязательно приедешь в Америку. Главное – переплыть Атлантический океан. Пока купили в кассе билеты и сели в электричку «Уфа – Чишмы».

Погода стояла отличная – солнечно, но не жарко, мы были уверены в успехе своего предприятия и наслаждались дорогой. Смотрели в окно – главное развлечение в электричке, всегда увидишь что-нибудь необычное.

В Юматово мы увидели дядьку, который страшно спешил. Ему, видно, позарез надо было попасть именно в наш поезд. За ним бежали другие, и даже один мужчина мчался на лошади, но первый дядька явно шёл на рекорд. Выпучив глаза, он уже взбирался на насыпь, когда электричка дёрнулась. Дядька поднажал, хрипя, вылез на перрон, ему оставалось сделать последний рывок…

– Не успеет, – сказал сочувственно Макс.

Мы бросились в тамбур, высунулись из дверей и давай махать руками и ногами, словно этот дядька нам родственник. Просто нам его жалко стало – он всех обогнал, такой молодец, а, получается, зря.

Машинист, наверное, рассердился ужасно – у него расписание, а тут два пацана машут, не дают двери закрыть.

И дядька успел! Ему тех секунд, на которые мы задержали состав, хватило, чтоб запрыгнуть в вагон.

Сначала он просто дышал тяжело, красный, как после бани, – и всё равно пытался нам улыбнуться. Мы тоже ему улыбались: мол, всё хорошо, едем.

– У вас гипервентиляция лёгких, – объяснил Макс со знанием дела, у него мама – медик.

– Факт, – согласился дядька. Он уже почти отдышался, мы вместе пошли, сели у окна.

Дядька держал в руках школьный ранец – смешно, взрослый человек, а носит ранец в каникулы.

– Ну, спасибо, братцы! – он пожал руку сначала мне, потом – Максу. – Выручили. А то бы – во! – дядька полоснул пальцем по шее, показав, насколько ему важно было уехать.

Мы понимающе покивали.

Спросил вежливо:

– Куда путь держим?

– В Америку.

– Ба! Знатно. К родне или так, погулять?

Нам скрывать было нечего, мы признались:

– Хотим убить Рейгана.

– Дело благородное.

И настолько хорошо он это сказал! Без подтекста, без издёвки внутренней: знаете, иногда взрослые поддакнут, а сами закатят глаза, будто перед ними дебилы. В театре бывает такая же глупость – кривляются в зал, мигают, бровями на других актёров поводят, типа те дурачки, а мы-то с вами – хо-хо… Противно.

А наш дядька правильно понял: нормальные люди едут по делу.

– Только до Америки трудновато добраться.

Понимаем, не детсадники. Объяснили:

– Ну, пока до Чишмов, потом будет видно.

Слово за слово, завязалась беседа.

– Э-эх! – хлопнул по ранцу дядька. – И мне бы в Америку! Завидую я вам, братцы, зверски завидую!.. – И зажмурился, глядя на что-то за окном, красивое до невозможности.

Взрослым, конечно, некогда путешествовать. Но мы предложили:

– Давайте с нами! – Может, он пенсионер или в отпуске.

– Действительно! Почему бы и нет? Я ведь могу пригодиться.

Не случайно он нам сразу понравился!

– На границе, объясняться с таможней, – оценил возможности Макс. – И тому подобное?

– Вот именно.

«И тому подобного» долго ждать не пришлось – вскоре в вагон милиционеры зашли. Двое. Такие строгие, по сторонам внимательно смотрят. Нам-то вроде бояться незачем, билеты мы честно купили, родителям записки оставили, но кто их, милицию, знает…

Новый знакомый нас не подвёл. На вопрос: «Ваши дети?», не моргнув, ответил:

– Мои.

И приобнял Макса за плечи. Сидим мы втроём, довольные, ясно – стопроцентно чисты.

– Далеко собрались?

– До Пионерской. Сад у нас там.

Неприятно, когда врут без зазрения совести, но дядька врал весело, вроде понарошку.

И мы поддержали игру.

– Сад, речка, пляж! – выдал радостно Макс.

Милиционеры похмурились и отправились дальше.

– Знаете, братцы, я в тамбуре покурю, – сказал наш новый товарищ. – Вы ни с места?

– Ни с места!

Я голову в окно высунул и ветер глотал, очень вкусно. Правда, немного беспокоиться начал – оказывается, со взрослым человеком рядом спокойнее, когда едешь на важное дело.

Тем более, к Пионерской подъехали. Неловко – вдруг милиционеры обратно пройдут, а мы по-прежнему здесь… Смотрю – что такое? – опять два милиционера! Уже другие. Торопятся. Прыгают к нам.

И, точно, прицепились немедленно:

– Здорово, ребятки! Как вас зовут?

Мы представились. Они заявили:

– Идёмте-ка с нами!

– Нет, нам дальше надо.

– Ещё чего! – один милиционер схватил меня за руку, второй – Макса. – Родители с ума сходят, а они, вишь, катаются!

И ранец взяли. Кричу:

– Эй! Это не наш, за ним хозяин придёт!

Они вообще не слушают. Катастрофа и произвол.

Вывели нас из вагона, посадили в машину:

– Ну, что, сенкевичи, едем обратно!

В милицейской машине мы раньше не катались. Между прочим, неплохо. На кочках прыгали, хохотали.

А в Уфе нам опять испортили настроение. Мамы плачут, моя меня тискает, мама Макса ругается. Даже ударила сына! А то, что у мужчин могли быть дела мирового значения, им по барабану.

– Только, – я спохватился, – обязательно надо ранец отдать хорошему человеку. Не знаю, как вы искать его теперь будете.

– Он разве не ваш?

– Нет, – ответила мама Макса.

И моя подтвердила:

– Не наш.

А нам не верили!

Вот что: в ранце оказалось огромное количество денег. Просто куча! Выяснилось, что в «Юматово», в санатории, главный бухгалтер забрал зачем-то все деньги и убежал. Решил на электричках удрать.

– А с виду приличный крендель, – расстроился Макс.

Я же ничуточки не огорчился – такая уймища денег! Здорово! Я никогда столько не видел! Что же касается вора, по-моему, он не плохой. Мало ли, может быть, у него – тоже важная цель. Или мечта.

– Не знаю, то ли на учёт вас поставить, то ли представить к награде, – спросил начальник милиции, когда мы зашли к нему в кабинет.

– Куда на учёт? Они же совсем малыши! – крикнула мама Макса.

Макс сказал:

– Представить к награде.

И нам дали премию.

Теперь мне осталось записать эту историю, и можно идти на улицу. Погуляем там с Максом, пока нет зимы. Ну, вы понимаете – ядерной. Пока Рейган не начал войну.

**Денис Лапицкий**

**Двое в ночи**

**Рассказ**

…Свистит паровоз, старые вагоны вздрагивают, грохочут массивные замки сцепов – поезд замедляет ход.

– Ну, вот ты и почти уже дома, парень. Удачи тебе, – рослый солдат в застиранной гимнастерке хлопает его по плечу. – Только на станции не торчи – дуй домой поскорее. Мать-то заждалась, поди…

Он кивает, улыбаясь, – говорить ему все еще очень сложно.

– Погоди, – с дощатых нар осторожно, оберегая раненую руку, спускается еще один солдат – с загорелым, обветренным, изборожденным глубокими морщинами лицом. Протягивает парню кисет. – Забыл.

Он отмахивается – мол, оставьте себе, я же не курю…

– Ты не маши, – солдат хмурит брови, под которыми на мгновение прячутся добрые глаза. – Возьми, раз говорят. Мало ли – попадется в дороге хороший человек, угостишь табачком…

Пожав плечами – как с вами спорить? – он берет кисет, подхватывает с щелястого пола тощий вещмешок.

Наконец, поезд останавливается.

Он улыбается, жмет на прощание всем руки и легко спрыгивает из вагона, навсегда расставаясь со своими кратковременными попутчиками – ранеными солдатами, отправляющимися на побывку домой.

– В рубашке парень родился, – негромко говорит загорелый.

Слова будто повисают в воздухе – и каждый из находящихся в вагоне с ними согласен в душе.

Свисток, шипение, грохот сцепов – краткая остановка завершилась, поезд трогается, затерянный в степи полустанок уплывает назад…

**\* \* \***

…Где-то далеко на западе грохочет война, небо затянуто черно-красным дымом пожарищ, разрывы снарядов перепахивают истерзанную землю. А здесь, в бескрайней башкирской степи, напоенной запахами разогретой на солнце земли и высоченных степных трав, – тишина.

Кисет с табаком и впрямь пригодился – он отдал его водителю попутки, подбросившей его от полустанка до развилки дорог. Машина ушла влево, а его путь лежал прямо.

Он стягивает сапоги. Ноги утопают в теплой тонкой пыли – совсем как в детстве, когда он с друзьями как угорелый бежал по дороге вслед за первыми колхозными тракторами и полуторками. Как давно это было…

Под вечер, когда солнце заваливается на запад, степь, придавленная дневной жарой, понемногу оживает. Слышна перекличка немногочисленных птиц, шуршат в траве мыши, с басовитым гудением пролетают тяжелые, как пули, жуки, и даже степное разнотравье начинает шуметь под прикосновениями пробудившегося ветерка.

Он идет по извилистой дороге вдоль глубокой колеи, оставленной колесами полуторок и телег, а далеко впереди горит багрянцем закат. Кажется, что дорога вонзается прямо в багровеющее вечернее солнце, – а за спиной небо наливается бархатистой темнотой, во множестве мест проколотой серебряными искрами звезд, и плывет среди них призрачным корабликом молодой месяц.

От полустанка до родной деревни несколько часов ходу. Но он идет радостно – ноги не устают, когда держишь путь домой. Да и армия привила ему привычку к долгим пешим переходам – в стужу, в дождь, в летний зной…

…Против воли вспоминается другой день. Жаркий. Страшный…

Как он полз среди воронок, захлебываясь кровью, как его забросил в лодку раненый солдат-украинец – а сам так и остался лежать на берегу, потому что спину ему разорвала пулеметная очередь, как на другом берегу его подобрал невесть откуда взявшийся старик, как трясло на ухабах телегу…

Как он, бессильно плача от боли и страха, выковыривал изо рта липкие черные сгустки заливающей горло крови – и боялся потерять сознание, потому что тогда все, конец. Как крошились сжимаемые зубы, как выгибалось раненое, терзаемой болью тело, как странно выглядели черные дорожки крови на его белых, словно присыпанных мукой руках – только не мука это была, а дорожная пыль, толстым слоем оседавшая повсюду… И как старик что-то кричал ему, а он уже ничего не слышал из-за звона в ушах.

А потом был полевой госпиталь, и загрубевшие, но все равно ласковые руки русской женщины-врача стирали с его лица страшную маску из крови и пыли, и повязки быстро краснели, набухая кровью, и кто-то просто и жутко сказал в сторону: «Не жилец»…

Он потряс головой, отгоняя воспоминания, коснулся пальцами страшного шрама на шее.

Солнце уже зашло. Но это его вовсе не беспокоило – дорогу домой он мог найти и в полной темноте. Сейчас между ним и окраиной деревни, где находился его дом, оставалось лишь пшеничное поле. Он шел по его кромке, ноги несли все быстрее – он уже видел теплящиеся в ночи огоньки окон. И ближе всех – родное окно, окошко их дома, стоящего на отшибе. Что-то сейчас делает мама?

Он машинально сорвал незрелый колос, растер в ладонях, забросил в рот молодые зерна.

Вот он и дома…

Перемахнул через невысокую ограду, ветром пронесся между грядок, распахнул никогда не запиравшуюся внешнюю дверь, двумя шагами пересек сени… и остановился. Из-за двери доносилось металлическое постукивание, скрип песка, иногда плескалась вода – похоже, мама чистила чугунок. Он поправил ворот, натянул сапоги, пригладил волосы и только потом осторожно постучался.

В комнате сразу стало тихо. Потом послышались торопливые шаги.

– Кто там?

Он сглотнул горячий шершавый комок. В горле мгновенно пересохло, словно туда сыпанули сухой дорожной пыли.

– Мама… это я…

Голос был хриплым, чужим.

За дверью послышался придушенный вскрик – так бывает, когда человек прикрывает себе рот ладонью, испугавшись чего-то.

– Мама… открой, это я!

Шорох – словно она оседает на пол.

– Мама? Это я, твой сын!

Короткое позвякивание – она берется за щеколду и вдруг отдергивает пальцы, словно обжегшись.

– Сын? – слышится из-за двери. – Мой сын погиб…

– Нет, мама, я не умер! – хрипит он, превозмогая боль в горле. – Я живой, я вернулся…

– Похоронка пришла месяц назад, почтальон прочитала – сказала, сын погиб смертью храбрых…

– Да нет же! – вскрикивает он и закашливается – в едва зажившем горле дерет, словно наждаком. – Это ошибка, ошибка, мама! Я твой сын, я вернулся! Открой же!

Он дергает дверь – и тут же за ручку тянут изнутри.

– Уйди! – стонет мать. – Ты не мой сын, мой сын погиб… Ты гуль, ты дух, и если я впущу тебя, душа моего сына никогда не обретет покоя!

Он замирает, потрясенный. Он знает это древнее поверье – если в ночи придет давно сгинувший человек, то его нельзя впускать в дом, будь то хоть самый близкий твой родич, ибо это может оказаться не человек вовсе, а гуль. И если отворить ему, если впустить под крышу, то душа человечья погибнет. Как бы ни было больно, как бы ни хотелось распахнуть двери, нужно молиться Создателю, молиться и ждать – ждать восхода вечного солнца. А там – как повернется. Если растает ночной гость в солнечных лучах, значит, не зря ты держал дверь на запоре, а уж коли окажется человеком – отворяй без страха да радуйся встрече…

– Мама… – дрожащие губы слушаются с трудом.

– О Аллах, всемилостивейший и милосердный, – быстро шепчет она за дверью, – ты забрал у меня мужа, ты забрал у меня сына, и тебе больше некого у меня забрать… Так хотя бы дай же ему покой!

Он лихорадочно соображает.

– Сейчас я подойду к окну – ты посмотришь и увидишь, что это я! – наконец находит он решение.

– Не-е-ет! – слышно, как она бросается к окну, задергивая старенькие шторы; что-то грохочет, катясь по полу, – возможно, тот самый чугунок, что она начищала. – Что тебе стоит принять облик моего сыночка? Молю, оставь меня!

Она бессильно плачет, подвывая.

– О Аллах, за что мне такие муки? Я все потеряла, я осталась одна, мне незачем жить, – забери мою душу, но не губи душу моего сына!

– Нет, мама, нет! – хрипит он, ударяя кулаком в дверь. – Это же я!

Он сползает по двери, кривя рот в беззвучном плаче, скребя пальцами неподатливое дерево.

Мама вновь бросается к двери.

– Сыночек, милый мой, ненаглядный, кровинка моя, – слышится сквозь рыдания, – если это и в самом деле ты – подожди до утра, подожди, пока не пропоют петухи, пока не взойдет солнце…

– Мама…

– Подожди до утра, – горячо шепчет она, заливаясь слезами, – пусть я буду всю жизнь перед тобой виноватая, пусть ты больше никогда не назовешь меня матерью за то, что я не узнала тебя, за то, что я не поверила тебе, – но только подожди, подожди…

Он молчит, он кивает, словно она может видеть его через толстые доски.

– Хорошо, мама, я подожду… Только ты не плачь, пожалуйста…

Он садится, прислоняясь спиной к двери, – не зная, что она сейчас сидит точно так же и что странный торопливый перестук, который безотчетно ловит его обострившийся до предела слух, – это биение ее сердца, сердца самого родного ему человека, женщины, давшей ему жизнь.

Медленно ползут минуты. Пахнет пылью и старой соломой. Слышно, как под полом тихонечко шуршат мышки. Серебристый луч лунного света, пробивающийся через щель над внешней дверью, медленно ползет по стене, отблескивает на кривом лезвии лежащего на скамье серпа. Он протягивает руку – прямо возле двери стоит небольшая кадушка с водой, на крышке лежит все тот же потемневший деревянный ковшик. Кадушку и ковшик много лет назад, незадолго до своей смерти, сделал его отец – сделал для него, для любимого сына, и поставил в сенях, чтобы он мог напиться воды, не забегая домой. Ему не было тогда и десяти лет, но он хорошо помнит, как причитали женщины и как мать, глядя куда-то вдаль поверх людских голов, стояла рядом с телом отца, которого свела в могилу болезнь, как дрожали слезинки в темных глазах, как загрубевшие руки мяли платок… Тогда он подошел к ней и прижался так сильно, как только мог прижаться маленький мальчик, и под плотно стиснутыми веками было горячо, и сердце колотилось в горле…

Зачерпнув ковшиком воды, он сделал несколько глотков.

– Я всего на несколько дней приехал. После госпиталя домой на побывку отпустили… Меня не сильно ранили, – спохватывается он, – все уже зажило. Просто говорить пока немножко трудно…

Она молчит – но он понимает, что мама ловит каждое его слово и что она благодарна за то, что он говорит, – потому что сидеть в тишине и ждать просто невыносимо. Ждать тяжело, особенно когда больше всего хочется поверить в то, что за дверью и в самом деле ее сын, а не бесплотный дух, когда хочется скинуть щеколду и распахнуть дверь…

– Я подожду, мама, – говорит он. – Скоро уже утро…

Медленно ползут минуты. Луч лунного света, проделав томительно-долгое путешествие по стене, исчез – луна скрылась за облаками. Но даже в царящей темноте он различает окружающие предметы, все, что ему так хорошо знакомо. Словно ничего и не изменилось с тех пор, когда он ушел на фронт.

– А немца мы скоро обратно погоним – так наш командир сказал. Как дойдем до Берлина – так и война кончится… Славная жизнь тогда настанет, – говорит он.

Он говорит и говорит. Это больно, в горле першит, приходится время от времени делать глоток воды из ковшика, – но каждое его слово не дает оборваться той тоненькой ниточке, которая связывает их сейчас. Его слова – будто огонек свечи в непроглядной темноте, к которому с разных сторон протягивают руки два человека…

Медленно ползут минуты.

За дверью слышится шорох, снова звякает щеколда… Он вздрагивает, понимая, что она хочет сделать.

– Нет, мама, нет! – он вскакивает и наваливается на дверь, не давая матери открыть ее. – Подожди, не надо! Утро совсем скоро!

Она снова опускается на пол – он слышит, как шуршит ткань ее одежды. Еще она беззвучно плачет – об этом он догадывается по тому, как чуть заметно подрагивают доски двери.

– Не плачь, мама, – мягко говорит он. – Не плачь…

– Сынок, прости меня, – всхлипывает она. – Я верю, что это ты, но…

– Не плачь, мама… все будет хорошо. Утро совсем скоро…

Медленно ползут минуты.

Он говорит – негромко, пересиливая боль в горле. Говорит обо всем, что только взбредет в голову, – чем кормили в госпитале, как тяжело копать окоп в глинистой земле, как шипят в снегу винтовочные гильзы… Она слушает, чутко ловя каждое его слово.

Небо на востоке алеет, заливается светом, первые лучи солнца золотят верхушки деревьев.

Ночь прошла.

– Сынок…

Тишина за дверью.

Нет, этого не может быть.

Только не это…

Нет…

– Сынок?

– Мама!

Звякает щеколда, дверь скрипит, открываясь.

– Сынок!

– Мама…

**P.S. Рассказ основан на реальных событиях.**

**Вадим Богданов**

**Где ходят электрички**

**Рассказ**

– Деда, а когда война кончится?

– Когда электрички пойдут, тогда и кончится.

Миколка осторожно примостил больную ногу на укрытый фуфайкой чурбачок и, не отрываясь, смотрит в кривое окошко. В окне нет ничего, кроме ночной черноты, пятна свечки да ломаного отражения Ивана Палыча. Миколка называет его дедом.

– Деда, а расскажи ещё про поезда… страшное.

– Страшное? Мало тебе вокруг страшного? Не забоишься, как в тот раз?

Миколка всё смотрит в окно. Палыч подкидывает в печку.

– Нет, не забоюсь!

Палыч отряхивает руки.

– Ну, слушай. Бывает так – подходит состав к станции, а у путей стоит человек. Стоит себе, стоит и вдруг когда состав уже совсем близко – раз! – и бросается на рельсы прямо под поезд. Люди говорят – самоубийство – сам, мол, человек решил под поезд прыгнуть, смерть принять. Но те, кто своими глазами видел такое, знают – не сам человек прыгает, а будто что-то затаскивает его на пути, будто всасывает его какая-то сила.

– А что за сила?

– Говорят, ходит по железным дорогам невидимый локомотив. Призрак. Ходит он на огромной скорости и даже на станциях не тормозит. И особенно любит он следовать прямо вплотную перед обычными живыми поездами. Стоят вот люди, ждут свою электричку, и вдруг прямо перед ней проходит через станцию стремительный невидимый поезд-призрак. А за ним возникает воронка воздушная, вихрь – вот в него и засасывает тех, кто близко к путям стоит.

– Деда, а он получается злой? Поезд-призрак?

– Не знаю. Может злой, а может просто равнодушный к нашему миру. Он же призрак.

Миколка отворачивается от окна – о чугун печки бряцнула крышка кастрюльки. Иван Палыч потыкал внутрь ложкой.

– Деда, а когда мама придёт?

– А вот как картошка сварится, так и придёт. Скоро уже.

Мама и правда приходит скоро. Дверь строжки распахивается, в неё врывается холодный ветер и мама.

– Там двое вдоль путей… – дыхание мамы сбивается, – сюда идут.

Палыч быстро откидывает половик, поднимает крышку погребца.

– Быстрее!

Сам хватает Миколку, тот молчит, только морщится от боли в ноге. Мама уже в погребе она принимает сына.

– Тихо…

Погреб закрыт, половик на месте.

Двое выбивают дверь. В руках калаши, на самих чёрная форма с нашивками. Палыча слепит, он прикрывается рукой.

– Горилка е?

Двое наводят быстрый шмон, Палыч стоит у стены. Знаки на нашивках похожи на острые куски разломанных и снова сложенных свастик.

– А це що? Картопля! Ми заберемо, а ти соби ще звариш.

Один раскрывает рюкзак, вываливает в него горячую картошку. Палыч видит в рюкзаке брикеты взрывчатки.

Двое не нашли ничего, что бы им понравилось. За это Палыча бьют в поддых. И ещё…

Мама и Миколка сидят у печки. Подсаживается Палыч.

– Вот, Миколка, хоть сухарик погрызи.

Миколка осторожно берет сухарик. Мама плачет. Палыч трогает её за плечо.

– Уходить вам надо.

– Куда? Вокруг фронт, стреляют, дороги перекрыты. Нас же сразу… Целый день пыталась машину найти… Счастье, что вы приютили.

Миколка протягивает маме корку. Палыч:

– По железке. Железка пустая сейчас. Все шоссе стерегут. Можно проскочить. До Крашино перегон, а там уже наши, и граница рядом. Там прямой до Таганрога ещё ходит. Я слышал.

– Пешком? А Миколка? Куда с его ногой… Не донесу…

Спали тревожно. Утром Палыч вытащил из подпола двустволку, положил перед мамой золотые часы с надписью «Отличному движенцу, изобретателю и рационализатору».

– Еды наменяй. Я вернусь. Ждите.

Домишка путевого обходчика у самого полотна. Палыч смотрит вдоль путей. Контактной сети не осталось, провода срезали на цветмет. Опоры побиты пулями и осколками, где-то повалены. Но полотно пока чистое.

Миколка так все дни и просидел у окошка.

Рано, едва рассвело, маму вдруг выбросило из дрёмы истошным его криком – Мама! Мама!

Мама вскочила, ничего не понимая спросонья – схватила сына в охапку, а он все вопил, вопил и показывал рукой в окно. Наконец, мама разобрала:

– Мама! Война кончилась!

Мама посмотрела в окно – к их ветхому домику подходила электричка. Старый глобус ЭР2 с круглой уютной мордой. За машиниста – Палыч.

– Бегом, бегом! – гнал он своих пассажиров.

– Деда! А война, правда, кончилась?

– Для вас – да!

Это был головной моторный вагон. Двери не закрывались. Стекла выбиты. В стенах пробоины от пуль и осколков. Палыч завёл всех в кабину.

– Сидите здесь. Не болтайтесь. И строго показал на заставленный вагон.

– Аккумуляторные батареи – 3000 вольт, щёлочь.

Электричка пошла. Покачиваясь, перестукивая колёсами, посвистывая ветром в пустых окнах и дверях… Пошла! Мимо поваленных, изрешечённых опор, мимо раненной земли, мимо войны.

Двое в чёрной форме копались у полотна. Разом повернули к поезду очумелые лица, и разом в их отравленные мозги пришла единственная доступная мысль. Оба подняли стволы, закричали что-то от ярости и злости похожее на – Хальт! Стволы плюнули огнём. И вдруг какая-то невидимая сила словно втянула черных на полотно, бросила на рельсы прямо перед накатывающейся неостановимой электричкой.

Двое завопили уже от ужаса, бросили автоматы, кинулись на четвереньках в стороны. Под колёсами заскрежетали стволы и приклады.

И вдруг – взрыв. Вагон тряхнуло, накренило вперёд и вправо. Задняя колёсная пара подпрыгнула как на изломе рельса. Палыч до белых костяшек сжимал кран тормозной магистрали.

Проскочили.

Путь пошёл под уклон, электричка набирала скорость, уходя от черных людей со сломанными свастиками на рукавах.

Палыч неловко обернулся, его мотнуло.

– Двоечники. Заряда пожалели, да ещё на шпалу положили, небось…

Старик стал заваливаться, мама подхватила его, положила на спину. Возле самого ворота на ватнике Палыча зияла махристая дырка.

– Не бойтесь, следуйте спокойно… сколько батарей хватит… километров на двадцать ещё… а там близко… Добежите.

Ткань вокруг дырки начала набухать чернотой.

Кровь унять не смогли. Миколка держал деда за руку, пока электричка не остановилась.

Мать взяла сына на руки. Под взглядом выпуклых фар доброй круглой морды они двинулись по железным путям… Туда, где всегда ходят и будут ходить электрички.